

Илья Коган

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

Рассказы и повесть

Илья Григорьевич Коган

Обратный билет.

Рассказы и повесть

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40488460

ISBN 9785449607072

Аннотация

Здесь все перепутано: быль и небыль, явь и детские фантазии, вчера и сегодня, горечь и улыбка. Память возвращает меня в городок моего детства и снова соединяет с теми, кто давно уже на том берегу. – Не плачь! – говорят мне они. – Жизнь стоила того, чтобы жить!

Содержание

Мой папа – ходок	5
Няня Маня	13
Обратный билет	29
Часть первая	29
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Обратный билет

Рассказы и повесть

Илья Григорьевич Коган

Редактор Елена Полякова

© Илья Григорьевич Коган, 2019

ISBN 978-5-4496-0707-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мой папа – ходок

Мой папа давно уже на том берегу. Днем он, наверное, бродит по небесным полям и считает. Считает, считает, считает... Помню, как виртуозно папа считал деньги. Зажимал пачку в левой руке и большим пальцем правой, предварительно поплевав на него, стремительно перебирал края бумажек. Только треск стоял... Трехзначные числа он перемножал в уме. И еще мог сказать, на какой день недели придется любое число на десять лет вперед.

А по вечерам, думаю я, мой папа присаживается к костру, у которого коротает время наше семейство. Недавно пришедшая двоюродная сестра Вера рассказывает земные новости.

– Готыню! – жалеет нас ее мать Фрима.

– Вус? Вер? – по привычке переспрашивает давно уже не глухая бабка Злата.

– А у Илюшки, – повторяет для нее Вера, – в сердце какую-то трубку поставили. А жена у него – художница. Выставки устраивает. Только Илюшка нас не зовет. Темные мы для этого.

– Подумаешь, фон барон... – замечает озверевшая от своей невинности тетка Рейзл.

– Вей так из мир! – вздыхает сердобольная Фрима.

– Херст? – обращается она в звездную тьму. – Дора, ты

слышишь?

Мама не откликается. Она слышит, но подходить к костру не желает. Не уважает она наше семейство. За дикость и грубость. За «торгашество». За папины измены.

– Я так любила его, – жаловалась она мне. – А он с первого же дня начал шляться по шиксам!

Я помню. Ну, не то чтобы я со свечой стоял. И не то, чтобы увидел что-нибудь из ряда вон в том, что «шляться» с папой мы отправились одни, а мама осталась дома, встречать новый год в одиночестве. Ну, было, конечно, как-то странно... Случилось это, должно быть, до рождения брата Мишки. Значит, четыре мне еще не исполнилось.

А что? Детская память просыпается рано. Мне было около двух, когда умер дедушка Абрам-Мойше. Помню, как таскали в дом кислородные подушки, как мама уводила меня к соседке, тете Хане Краковой... Между прочим, на похороны дедушки меня не взяли. Нас с Сюней оставили дома, сторожить друг друга. «Только смотри, – предупредила мама, – не вздумай показывать дяде пальчик!». Дядя был сильно цидрейтер. Но, когда его не трогали, он безобидно думал о чем-то своем... Я крепился, сколько мог. Мы катали по деревянному стулу мышку на ниточке. Дернешь за ниточку, она втягивается внутрь, и мышка катится на тебя. А потом назад... Но сколько можно возиться с неживой железкой. И я заскучал... И стал посматривать на дядю, который, наверное, тоже

был не прочь поиграть во что-нибудь другое. Пальчик как-то сам собой выскользнул из моей ладошки. Сначала я сам долго и тщательно рассматривал его. Потом поднял выше. Потом выставил прямо перед дядиным лицом. Что-то в нем дрогнуло... губы растянулись в улыбке. «Хе-хе-хе...» – еще негромко засмеялся Сюня. Мне тоже стало смешно. И вот мы заливались наперегонки. Я даже не сразу заметил, что дядин смех становится похожим на плач. А когда он совсем зарыдал, забился в слезах, мне стало так страшно, так страшно!.. Я быстро-быстро забрался под самую дальнюю кровать и постарался плакать не очень громко...

Когда взрослые вернулись, им пришлось долго искать и будить меня... «Так я и знала! – сказала мама. – Ты все-таки показал ему пальчик!»...

А потом дедушка Абрам-Мойше стал бегать за мной во сне. Все бы ничего, если бы не был он почему-то без кожи. Полтуловища красного мяса!.. Ну не мог же я в свои малые годы видеть анатомический атлас. Не иначе как мне чей-то чужой сон приснился...

А тем зимним вечером мы с папой отправились в гости к Арбакситу. А, может, он был Арпаксит. Такой толстый дядька, папин начальник. Мы шли по дну белого оврага, поднимались вверх, и ночь была светлой от снега. Снег шуршал, сползая с еловых веток, скрипел под подошвами валенок. Было просторно и тихо. И только закутанные в снег дома пытели печными трубами.

Мы пришли первыми. – Ой, ой, ой! – заметалась жена Арбаксита (или Арпаксита), тетя Ната, – я же еще не одета!.. Она кинулась за ширму, завозилась там, а я устоял на елке, с макушки до пят завешанную чудными шарами и цветными лошадками. Висели там и конфеты в серебряных фантиках, и золотые мандарины. А внизу в ватном сугробе утопал Дед Мороз. Самый настоящий, только меньше меня ростом.

Это была первая елка, которую я видел. И первый Новый год, который меня взяли встречать со взрослыми. Только без мамы почему-то. – А где же Дора? – спросила тетя Ната, выходя из-за ширмы. Нарядная такая. И сунула мне в руку мандарин. Она сняла его с елки. Он был прохладный и липкий – смола накапала. Я незаметно обтер его о штанишки (рейтузы папа с меня уже стащил) и стал отковыривать скорлупу. От запаха зачесалось в носу. Но чихнуть я не успел – в прихожей отряхивали обувь, здоровались, смеялись. Гости собирались на елку.

– А где же Дора? – спросила красивая тетя Таня, продавщица из папиного магазина. Папа только пожал плечами. Мол: – Хвейс? Я знаю?.. В нашей семье это «Хвейс?» было любимым ответом на все вопросы. Но красивая тетя Таня не отставала: – Котик, а где же Дора?..

Я не успел подумать:» – а почему «котик»? Так мама называет только меня?..» – как тут же другой папин начальник, дядя Герцойг, стал приставать к папе: – Герш, ты опять

один? Где Дора?.. Папа только приподнял плечо, но сказать свое «Хвейс?» не успел. Тетя Ната его перебила: – Она что, своего животика стесняется? – А! – вздохнули все. – Так вы ребеночка ждете!.. Сестренку этому бохеру!

Одна красивая тетя Таня не радовалась. – И когда это ты, котик, поспел? – приставала она к папе. Но дядя Арбаксит (или Арпаксит) и дядя Герцойг уже тащили его к дверям. – Поедем! Поедем! Какой же Новый год без Доры! – Не успеем!.. – пробовал сопротивляться папа. Но на него натягивали пальто и пихали в руки шапку. – Схватим машину и привезем твою Дору к самому Новому году!

Мы не скучали. Мы – это я и Зойка, дочка красивой тети Тани. Она была на год старше и во всю командовала мною. Первым делом ей приглянулся мандарин, который я не успел съесть. А не надо зевать!.. А потом: – Ну-ка, стащи с елки конфету! – приказала она. Я послушно потянулся за «Мишкой косолапым». А потом за еще одним... Вкусно было. А, главное, Зойка не воротила от меня нос, как на улице. Там она с такой малышкой не водилась.

На нас не обращали внимания. Женщины накрывали на стол, а потом встречали маму. Ее, и правда, привезли к самому Новому году. Успели.

Тетя Ната увела ее за ширму. Пошептаться. Туда же проскользнула тетя Лиза Грин. Только красивая тетя Таня не пошла. – За стол! За стол! – шумела она. – И включите радио! А то куранты пропустим!.. Задвигали стулья, расселись.

Зойка, конечно, уселась рядом с мамой. А про меня как-то забыли. Я пристроился на краешке дивана и стал ждать, когда позовут. Но вот зашипело радио, и сквозь гудки машин пробился бой кремлевских курантов. – С Новым годом! С новым счастьем! – зашумели все. А папин начальник, дядя Герцойг, стоя, объявил: – За нашего великого вождя товарища Сталина!.. – Ура! – закричали гости. И застучали вилками. – Холодец! Куриный холодец! – предлагала всем тетя Ната. – А Доре гефилте фиш! Вот! Лучший кусочек для девочки!

– И мне гефилте фиш! – требовала красивая тетя Таня. – Я еще ни разу не ела еврейскую рыбу!.. – И мне! И мне! – повторяла за ней Зойка. И вот тут я не выдержал. Вспомнил, какую фаршированную рыбу готовила мама. – Мам! – дрожащим голосом попросил я, – а можно мне кусочек черного хлеба!.. И зарыдал.

Что тут поднялось! Меня по коленям переправили к маме. – Черного хлеба! – повторяли все жалобными голосами. А мама обливалась слезами не хуже меня. – Фейгеле! – причитала она! – И прижимала меня к груди. – Лихтере пунем! Тайере пунем!.. Мне совали в руки бутерброды с черной икрой. Но я все детство больше любил красную. Тугие красные икринки так звонко лопались под зубами!..

– Ну что, плаксуля? – потянула меня Зойка. – Наелся? Давай играть!

«Играть», по-зойкиному, значило пробраться под стол

и потихоньку щекотать гостям пятки. Гости смешно дергали ногами, но не ругались. Всем было весело. А потом дядя Арбаксит (или Арпаксит) запел:

— *Ломир але инейнем,
Ломир але инейнем,
Тринкен а биселе вайн!..*

Гости грянули так, что стол заходил ходуном. И тут Зойке приспичило:

– Давай целоваться!.. Тьфу! Охота была! Но с Зойкой не поспоришь. Да и из-под стола не выберешься... Пришлось прислониться к ее липким от конфет губам. Чуть не стошнило! А Зойка не отставала: – Нет, ты давай по-настоящему! Как твой папа мою маму целует!.. Надо же так, что в это время за столом все молчали. Закусывали после песни. И, видно что-то расслышали. Потому что с десятков ног разом достали нас. И гости нестройно, но очень громко повторили припев:

– *Ломир але инейнем,
Ломир але инейнем,
Тринкен а биселе вайн!..*

...Неземное пламя отражается в медленной Лете. Что-то у нашего костра поскучнело. – Дора! – вздыхает моя тетка Фрима. – Плюнь! У этих кобелей голова в штанах. Чтoб они все гешволн были!.. – Фрума, ша! – останавливает ее де-

душка Абрам-Мойше. А бабушка Злата Семеновна горестно бормочет: – Абизоим!.. Абизоим фар ди гоим!..

Это я так думаю. Я же пока не сижу за этим костром. И маме мне сказать нечего. Я за папой со свечой не ходил. А вот как мама шарила по его карманам, искала верные улики папиной неверности, это да – это я видел! И досадно же мне было, что до глубокой старости она докучает отцу глупой ревностью. А вот дочери мои думают по-другому. – Ну, наш дедушка еще тот ходок был! – хором утверждают они. И намекают, что в нашем роду это фамильное... Вот уж про кого, про кого, а про себя ничего такого сказать не могу. – Хороший ты человек, – говорила одна моя приятельница. – Но не бабник!.. Не бабник!.. Мне даже как-то неловко было – ведь она это не в похвалу мне. Только вот жена Кира иногда смотрит на меня подозрительно и бурчит: – У, котяра!

Что она имеет в виду?

Няня Маня

Мне кажется, там, на другом берегу, нет времени. Там всегда вчера-сегодня-завтра. И мама моя блуждает среди застывших секунд, которые давным-давно ушли из нашего мира. И когда она касается какой-нибудь из них, та откликается призрачным звуком. И долгое эхо сожаление и печали растекается по звездному небу. И в свете бестелесного костра является девочка в шерстяной шали и больших резиновых сапогах. А рядом корова, механически пережевывающая какие-то свои воспоминания.

– Манечка, это ты? – робко спрашивает мама...

Она появилась в нашем дворе за пару лет до войны. – Дора, вам, кажется, нужна домработница?.. Соседка, тетя Рая, тащила за руку шмыгающую носом девчонку. Девчонка не упиралась, просто большие резиновые боты не поспевали за ней. – Вей так! – всплеснула руками мама. – Откуда такое горе?.. – Мы рязанские! – призналась девчонка. – Манькой меня кличут! – Маней? – переспросила мама. – Не... е... Маня – то наша корова. А я Манька... – Манька так Манька... – согласилась мама. – А что же ты Манька умеешь?.. – У-у! – загудела девчонка. – Всяко дело я могу! Ребятенка обихаживать... за коровой ходить... картоху чистить... или в кожуре варить... воду из колодца таскать... – Не морочь

голову! – не поверила мама. – Ведра-то выше тебя ростом! Руки вывернешь, пока подымешь.

– Ну да!

Манька ловко подхватила два больших ведра и зашлепала ботами со двора. – Да у нее, небось, и паспорта нет? – засомневалась мама. – Какие в колхозе паспорта! – успокоила тетя Рая. – Поставишь участковому беленькую, он ей метрику выпишет...

А Манька тем временем уже протискивалась в калитку. Ведра пригибали ее к земле и тянули то в одну, то в другую сторону. Вода плескалась в ботах. Но ведра были поставлены к маминым ногам. – Шустрая я! – сама себя похвалила девчонка.

Я уж и не помню, в какой угол пристроили Маньку. Дом наш был когда-то не то баней, не то конюшной господина Эшке. Фамилию хозяина я запомнил, потому что свои первые стишки складывал в твердую обложку, на внутренней стороне которой сохранилась отчетливая надпись: *«ИЗ КНИГ ЭФРАИМА ЭШКЕ»*.

Вот эту не то баню, не то конюшню перестроили под жилье. Получились четыре квартиры. Наша была самой крохотной. Но отдельной. И у нас была печка. Топка выходила в проходную комнатку. Летом, когда печь не топили, спать можно было здесь. А зимой Манькин матрац, наверное, запихивали под стол.

Главной заботой няньки стал братец Мишка. Он был на четыре года младше меня и в сорок раз голосистее. Что-то его в этом мире не устраивало, и свое недовольство он выражал, не стесняясь. Орал без умолку. Мои попытки ошеломить его еще более громким криком вызывали легкое изумление на зареванном лице и новый всплеск сотрясения воздуха. – Сгинь! – прогоняла меня Манька и уволакивала брата вон со двора. На улицу, где скрипели сосны и раздавался неумолчный стук мяча. Окрестные пацаны гоняли в футбол. – Пас!.. – Отдай мне!.. – Го-ол! – вопили они. И вдруг все сразу и горестно: – Уй-юй-юй!.. Это значило, что мяч со всего маху напарывался на острие копья, которое украшало зеленый забор господина Эфраима Эшке.

Это было время, полное солнца и хвойного духа смолы. Время, когда в мире еще водились волшебники. Звали их татарами. Они прилетали на телегах, нагруженных сказочным добром.

– Старье берем! – зычно кричали они. – Бутылки!.. И надо было лететь к маме и хватать в охапку пустую, а иногда и не очень, стеклянную посуду. И втискиваться в гомонящую толпу ребятни... За бутылки татарин давал мячик на резинке, глиняную свистульку или даже «пугач» с пистонами. А то еще туго свернутую красную трубочку. В нее полагалось дуть, пока она не распрямится и не вытянется во всю длину. А потом вырвется из рук, заскачет по траве и заорет

дурным голосом:

– Уйди! Уйди! Уйди!.. Тут даже Мишка замолкал и, кряхтя, сползал с Манькиных рук.

– Ди!.. Ди!.. Ди!.. – умильно повторял он.

И почти каждый день во двор привозили мороженое.

Мороженое! Ах, если бы вы жили до войны, вы бы знали, что это такое: услышать за оградой двора скрип тележки мороженщицы! Из ледяного нутра тележки она доставала хитрые машинки: маленькую среднюю и большую. Это были такие круглые коробочки, на дно которых добрая тенька укладывала вафельные кружочки: маленький, средний и большой. Потом она зачерпывала ложкой ком мороженого и разравнивала его с краями коробочки. Сверху все это накрывалось еще одним вафельным кружочком. Глотая слюни, ты смотрел, как дно коробочки приподнимается, выталкивая готовую для наслаждения порцию сладкого чуда: за три копейки... за пять... и еще не помню за сколько.

Такое мороженое не полагалось кусать, его нужно было лизать между вафлями, поворачивая по кругу от носа к подбородку. Оно таяло на языке, холодило зубы и умоляло не спешить, тянуть удовольствие. Но это была коварная просьба. Проворное солнце опережало тебя, заставляя делиться с рубашкой, штанами и землей.

– Мам! – неся ты с ревом домой. – Мороженое упало!

Манька прижилась у нас. Она, и правда, оказалась проворной и безотказной. И дров наколоть, и печь растопить, и за керосином слетать – ни от чего не бегала. Только бы не отправляли домой, в голодную рязанскую глушь... Другое дело, что Москву, настоящую Москву, она так и не видела. Мы же жили в Кунцеве, дачном пригороде. От нас ходил паровичок до Белорусского вокзала. А на автобусе можно было подъехать прямо к Большому театру.

То-то Манька насмотрелась, когда мама повезла нас к фотографу на Дорогомиловскую заставу. Чуть голову не отвертела. – О!.. – повторяла она за кондуктором, – Еврейское кладбище!.. – О!.. Русское кладбище!.. – О!.. Фабрика-кухня!.. Но сильнее всего она разохалась, когда с визгом и треньканьем дорогу нам пересек трамвай. – Трамвай! Трамвай! – подкидывала она Мишку на коленках. – Дзинь! Дзинь! Дзинь!.. – Зинь! Зинь! – вторил ей братец.

Но как же он разорался, когда его попробовали оторвать от няньки и оставить одного перед огромным деревянным ящиком. А уж когда дядя-фотограф сунул голову под черную тряпку, Мишка просто зашелся криком. – Смотри! Смотри! – успокаивал его фотограф. – Сейчас птичка вылетит!.. Какая птичка? Тут уж брат испугался на всю катушку. Мы недавно были в зоопарке, и самым страшным Мишкиным воспоминанием был ободранный гриф с огромным клювом и воротником из грязных перьев. Та еще птичка!

Только Манька смогла хоть чуть-чуть уговорить брата. –

Ай, дуду!.. Ай, дуду!.. – прижимала она его к груди. – Ходит козлик во саду... Роги острые точит, Мише плакать не велит...

Мишка, и правда, перестал орать. Только носом сопел. – Птичка! – приказал фотограф. Манька даже отскочить не успела. Так и остались они на фотографии: заходящийся новым криком Мишка и большая Манькина тень за его спиной.

Зато я почти не боялся. Сел на стульчик лицом к фотографу и стал покорно ждать «птичку». Таким и получился: смиренным скучным мальчиком с чубчиком на лбу и большим бантом, из концов которого торчали неровные нитки. И с ободранными носками туфелек. – Не могла бохеру обувь почистить! – ворчала потом вечно смурная тетка Рей-зл. Не любила она маму.

Был у нас кожаный диван. С полочкой, на которой стояли семь белых слоников. А еще и трельяж – в середине зеркала побольше, а по бокам две зеркальные створки. И надо же такому случиться: распрыгался я на этом диване, зацепил плечом трехногую красоту, и грохнулось она – сначала мне на спину, а потом уже и на пол. – Теть Дор! – побежала доносить Манька. – А ваш Илюшка зеркалу скинул!.. – Вей из мир! – схватилась за голову мама. – Быть большому цуресу!.. Так она до самой смерти и верила, что война началась из-за разбитого мной зеркала. А что? Ведь не прошло и недели...

Немцы прилетали ровно в десять. Часы можно было проверять. Мы успевали допить чай и отправлялись в «щель» – бомбоубежище, вырытое всем двором у забора. Пахло сыростью и страхом. Все сидели, тесно прижавшись друг к другу, и только отдельные смельчаки выглядывали в приоткрытый люк. Как-то раз мне удалось соскочить с маминых колен и вскарабкаться к выходу. По черному небу скользили лучи прожекторов, то тут, то там вспыхивали огоньки разрывов. – Фили горят! – испуганно сказал кто-то из мужчин. Далеко в стороне города небо было красным как на восходе. Горел толевый завод – узнали мы потом.

– Ты хочешь моей смерти! – рыдала мама, стаскивая меня с лесенки.

Однажды взрыв прогремел совсем рядом. С потолка «щели» с сырым шорохом посыпалась земля. Утром оказалось, что окно комнаты, заклеенное крест-накрест, распахнуто взрывной волной. Бомба, упавшая на соседней улице, похоронила древних старушек в неглубокой «щели».

– Все! – сказала мама. – Надо уезжать!.. Она раздобыла три места на поезд в Сибирь. Это называлось «эвакуация». Назавтра папа пригнал полуторку. Мама не успела оглянуться, как Манька уже сидела на чемоданах с Мишкой на коленях.

– Маня! – строго окликнула ее мама. – Ну-ка слезай!.. – Куды? – сделала вид, что не поняла, Манька. – Домой! –

разъяснила мама. – Вот тебе деньги и езжай в свою Рязань, домой!.. – Куды? – снова не поняла Манька. – Я к вам нянялась, я с вами и еду! – Куда? – теперь не поняла мама. – У тебя же ни паспорта, ничего... Да и талона на тебя нету. Кто тебя в вагон пустит!.. Манька только крепче стискивала орущего Мишку. – Я шустрая! – нахально заявила она. – Пролезу!..

Вот так и оказалась Манька в нашей теплушке. Мы с мамой разместились на нижних нарах. А наша нянька – под ними. И не высовывалась, пока поезд не тронулся.

Я не буду рассказывать, как мы добирались до Сибири. Как нас бомбили в первую ночь. Как мы лежали в поле, в каких-то воронках. В небе гудели самолеты, что-то сверкало, что-то ухало совсем рядом. А Мишка надрывался ревом. И люди вокруг кричали, что немцы там, наверху, слышат этот крик, у них такие аппараты есть! И что его белое одеяльце с неба видно. И прямо стаскивали с брата это несчастное одеяло. Мама плакала, Манька не знала за что хвататься – то ли за одеяло, то ли за Мишку. Выбрала все-таки Мишку.

– А одеяльце-то было из чистого пуха! – жалела потом мама.

Мы ехали долго-долго – через леса, через горы, переезжали тысячи рек. На станциях к нам приставали разные дядьки, уговаривали оставаться у них в колхозах. – Нет, – отвечала мама, – мы едем в Омск!..

Почему в Омск? Там жили наши дальние-предальные род-

ственники. Седьмая вода на киселе. Но перед войной они гостили в Москве. Мама надеялась, что они нас приютят.

И правда, нас пустила к себе тетя Катя. Уж не знаю, кем она нам приходилась. Но все-таки не чужая. Муж тети Кати и старший сын были на фронте. А младший, Ленька, второй год ходил в третий класс. А еще у тети Кати была корова. И вот чудо: звали корову Маней. – Ну, прям, как у нас в Рязани! – удивлялась наша няня.

Тетя Катя поселила нас в комнате, где была всего одна кровать. На ней спали мама с Мишкой. А мы с Манькой на полу. Первые два-три месяца мама платила тете Кате – как договорились. Деньги присылал папа. Но потом их стало не хватать. Вот тогда мы узнали, что такое сибирская еврейка. От криков тети Кати стекла в окнах звенели. – Капцонес! – шумела она. – Завтра же все вон из моего дома! Чтoб духа вашего не было! – Да мы заплатим! Заплатим! – пробовала уговорить ее мама. – Вот придет перевод... – Ой, держите меня, евреи! – надрывалась тетя Катя. – Хай как серебром вы заплатите! Голодранцы! Враги народа! Нечего было из своей Москвы бежать!

А потом в Москве была паника. И кунцевские родичи всем скопом притащились в Омск: бабка Злата, тетка Рейзл, тетка Фрима и мои двоюродные Жанна и Вера. И с ними мой дядька Сюня, которого на фронт не брали из-за больных мозгов. И все, конечно, втиснулись в нашу комнату. И стало нас всех одиннадцать душ. Тетя Катя аж почернела от зло-

сти. Но где ж ей было сладить с таким кагалом.

Так мы и жили. И няня Маня с нами. Тягкалась с Мишкой, бегала за водой, а по утрам помогала тете Кате доить корову. Корову донимали слепни. Вот она и отмахивалась хвостом и дергала ногами, норовя опрокинуть ведро. Надо было одной рукой держать хвост, а другой отгонять назойливых тварей. Дзинькали по ведру молочные струи. В сарае Манька уговаривала корову:

– Ну, стой, стой, Манечка, смирно!.. Ну, не маши хвостом! Потерпи!.. Потерпи, тебе говорят!..

Осенью Мишу отдали в детский сад. На неделю. В понедельник с утра мама отводила его на автобус, и Мишку увозили куда-то за город. А в субботу мы с Манькой встречали его.

Она, видно, не умела жить, не обихаживая кого-то. Так уж была устроена. И теперь, без Мишки, привязалась к корове. Сделав свои дела по дому, бежала в сарай. – Манечка! Голубушка! Красуля моя!.. И пока тетя Катя была на работе, выводила корову пастись. На кладбище. И я с ними.

Казацкое кладбище было рядом с домом – только дорожку перейти. Манька первой заглядывала в ворота – не видно ли строгого директора. И потом быстро-быстро загоняла нас в дальний угол, подальше от ворот.

Мне было хорошо. Я сидел на могильной плите, мурлыкал что-то и щурил глаза на солнце. Желтый круг разбивался на цветные иголки, и я мог заставить их крутиться в разные

стороны...

В кустах шуршала корова. Слышно было, как она трясет прутья, вытягивая сквозь них пучки травы. Траву между могилами она давно объела... «Надо бы перейти на другую сторону...» – лениво думал я. И в пол уха слушал Маньку, которая, водя пальцем по строчкам, читала вслух какую-то историю про путников, заплутавших в степном буране и про нечаянно явившегося проводника. И еще что-то про заячий тулупчик.

Осень была солнечной. И от тепла и манькиного бормотанья меня давно тянуло в сон. Но тут вдруг корова вышла из-за могил. Не переставая жевать, она наострила уши в сторону улицы.

– Хоронют! – сказала няня Маня. Теперь и я услышал в дальнем конце Партизанской глухие удары барабана. Хоронили здесь редко, кладбище еще до войны собирались закрыть. Я старался не пропускать похорон. Бежал за катафалком, спешил успеть, чтобы увидеть, как гроб опускали на принесенные из конторы табуретки, открывали крышку и зажигали свечку в желтых руках покойника. Я его совсем не боялся. Приходил поп и принимался махать коптящим горшочком на цепи. И дым от поповского горшочка клубился вокруг острого носа, торчащего из цветов. – Вот бы чихнул! – думал я. – И все бы заорали: будьте здоровы!.. А потом начиналось самое главное. Кто-то из родственников раскутывал миску, в которой лежал теплый еще рис с изюмом.

Провожающие и нищие выстраивались в очередь, и каждый получал в подставленные ладони горстку вкусного варева. И мне доставалась хорошая пригоршня.

Вот потому-то я и стал приставать к Маньке: пойдём да пойдём! – Рисом же кормят! – уговаривал я её. – Куды с коровой! – не соглашалась Манька. – Да мы потихоньку, а Маню спрячем... А зато рис, знаешь какой вкусный! С изюмом!

К тому времени я уже всегда хотел есть. Хлеб был по карточкам, а все вещи, которые привезли с собой, мама давно выменяла на еду.

– Во причепился на мою голову! – ругалась Манька. Но я не отставал. Я знал: если долго ныть, Манька устанет и махнет рукой. Так и вышло.

– Ты ж хуже горькой редьки! – рассердилась она. И стала завязывать на Маниной шее веревку. А я думал: да пусть сердится, лишь бы не опоздать.

Мы успели. Миска была ещё наполовину полна. Я пристроился к очереди. Нищие уже знали меня и только тихонько ворчали. А вот Маньку с коровой они пускать не хотели. – Ишь! – шумели они. – На русские похороны с яврейской скотиной! Мало нам мальчонки-яврейченки! – Обломы сиволапые! – огрызалась няня. – Малые дети явреями не бывают!.. Я это запомнил – в школе ох как пригодилось!..

Пришлось-таки Маньке завести корову за ближнюю оградку. Потом она шустро пристроилась за мной. Нам положили в ладони по ложке риса. Я быстренько проглотил свою

порцию и снова пристроился в очередь. Нищие давно уже стояли по второму разу. А я что ли рыжий... Когда раздача была совсем рядом, раздался вдруг злобный крик: – Опять эта корова! Кто пустил корову на погост?..

Директор кладбища, дядя Вася, лупил по маниному боку ее же веревкой. Корова шарахалась, пугая народ.

– Сколько говорено! – прихрамывая, наседа на нее дядя Вася. – Не водите вашу корову на погост! Не мешайте прощанию!..

Он схватил веревку и потащил корову к конторе. – Ой-юй-юй! – запричитала Манька. – Отчепись от коровки, грабастик!.. – Под арест! – не уступал директор. Он загнал Маню в сарай и закрыл его на замок.

– Пропала моя красуля! – скулила Манька. А я думал: – Пропали мы! Что с нами сделает тетя Катя!

Я как в воду глядел. В доме случился тарарам. Или, как говорила бабка Злата, хамишуцер. Зря что ли мама называла тетю Катю «еврейской казачкой»! Каких только проклятий не сыпалось на голову бедной няни. – Капцонес! Гановер!.. Чтоб ты сгорела! Чтоб небо на тебя упало! Чтобы на кладбище места для тебя не нашлось!..

Она ругалась и плакала: – Погубили мою кормилицу! На что я теперь жить буду!

Манька только носом шмыгала. А что ей было говорить? Что это я заставил ее вести корову на похороны? Что ей

не хватило духа отвязаться от приставучего мальчишки?

Вдоволь накричавшись, тетя Катя достала из одежного шкафа бутылку с белой головкой и затопала на кладбище.

Корову она привела. Но с того дня что-то пошло не так. С коровой Маней, то есть. На кладбище ее больше не водили. Сено она жевала как-то скучно. И доиться почти перестала.

– Порчу навели! – вздыхала грустная Маня. Я как-то не очень понимал, что такое порча. Но что корове плохо, видел своими глазами. Когда тети Кати не было, мы забирались в сарай, и Манька пробовала скормить Мане принесенную с кладбища траву. Корова только шумно вздыхала, а рот открывать не хотела. – Ешь, Манюня! Ешь, красуля моя! – уговаривала корову няня. И гладила ее по нечесаной шерсти.

А как-то раз, когда мы встречали брата Мишку из детского сада, нас долго не хотели пускать во двор. Когда открыли калитку и мама приняла зареванного сына, Манька первым делом кинулась в сарай. Как будто почувствовала что-то.

– Манюня! – закричала она оттуда. – Где ты, голуба моя!.. Продали!.. Продали красулю мою! – догадалась было она. А потом вышла из сарая и увидела в углу двора что-то темное и мокрое, висящее на веревке. И с него капала вода.

– Зарезали! – заголосила нянька. – Убивцы! Грабастики поганые!.. И прижималась лицом к мокрой шкуре. А тетя Катя только молча смотрела с крыльца.

Вечером, когда все уже улеглись, мама громким шепотом

стала уговаривать няню: – Надо тебе куда-то устраиваться, Маня! Сколько же можно так жить? Без паспорта, без карточек... – Домой поеду! К мамке! – таким же шепотом отвечала Манька. – Куда? – не соглашалась мама. – Как ты до своей Рязани доберешься? Время-то военное... – А куды ж мне? – захлюпала носом Манька.

– Надо тебе в ремесленное. Там кормят и одевают. И учат чему-то...

– А то ж, – соображала девчонка. – И пойду. Я этих ремеслух в городе вижу. На вид складные. А то что я у вас? Только хлеб за зря ем...

– Вот и хорошо! – обрадовалась мама. И вдруг тихо заплакала: – Что же получается? Завезли мы тебя и, выходит, бросили... Что я твоей матери скажу, если спросит? Куда мы ее дочь дели?..

– Ниче. Не пропаду! – утешала ее Манька. – Я шустрая!

Она навещала нас по выходным. Приходила такая, что и не узнать было. В черной шинели с блестящей пряжкой на ремне, а на голове черный берет с молоточками. Брат Мишка пугался и начинал орать... – Манечка! – радовалась мама. – Как ты там?.. – В порядке! Карточку рабочую дали! И кормят три раза! И постелю чистую стелют!.. – Не обижают тебя? – волновалась мама. – Я сама кого хошь обижу!..

А потом она стала работать на заводе. И появлялась у нас все реже. А потом маме прислали пропуск в Москву. И снова

на трех человек. А Маню никто бы и не отпустил. Она теперь была как мобилизованная.

Больше мы Маньку не видели. Только мама иногда вздыхала неизвестно почему.

Я представляю, как она там бродит, на другом берегу. И ждет, когда появится девочка в резиновых сапогах и корова рядом с ней. – Маня, это ты? – робко спрашивает мама. А я вспоминаю, что где-то есть старая фотография. На ней мой маленький брат и тень на стене. Птичка вылетела.

Обратный билет

Часть первая

Глава первая

Говорят, что прошлое – это остров, окруженный океаном времени. А память – это пароход, который, шлепая колесами по вязкой воде, возвращает нас в места прежних радостей и печалей. Воздух туманен, и сильный гудок собирает на том берегу знакомые силуэты. О, все они тут: и бабушка Злата, и тетка Рейзл, и дядя Захар, и тетя Соня! Востряковские старожилы!.. Что ты плачешь мама! Я же еще не насовсем! У меня есть обратный билет. Вот он! Чуть помялся, а так – как новенький!

Цок-цок-цок... Цокают по булыжнику звонкие подковы. Скрипит трамвай. Сыпятся искры из-под дуги. По тротуарам спешат люди в шинелях и телогрейках. День в Москве начинается на три часа позже, чем в Омске.

Мы приехали. Соседи-командиры, которым мы с братом надоели за три дня пути, вынесли наши узлы и чемодан на вокзальную площадь.

На такси денег у мамы не было. Но извозчики брали де-

шевле. И вот мы втроем катим в коляске, а лошадь мотает хвостом, а деревья уже голые, а улицы кривые, а брат Мишка прыгает на маминых коленях и кричит на весь город: «Хоу ка-ка!».

– Табачный проезд, говоришь? – оборачивается к маме извозчик. – Фабрика «Дукат», говоришь? Мимо не проедем!..

А мама все ахает да удивляется:

– Ах, Садовое кольцо! Ах, Сухаревка! Ах, Цветной бульвар!

Можно подумать, она здесь родилась и выросла.

– Ах, Москва!

Помню – мама еще молода, улыбается нашим соседям.

И куда-то мы едем. Куда?

Ах, куда-то, зачем-то мы едем...

Едем... Едем... Пароход моей памяти откликается на слово «едем». И начинает выписывать зигзаги, причудливо перескакивая с волны на волну. И вот уже мне открываются иные берега и картины иного возвращения...

Мне было хорошо.

Я не то дремал... не то блуждал на краю реальности.

Ровно гудели турбины.

Далеко внизу неподвижно висели ватные облака.

Самолет летел в Израиль.

— Тпр-ру! – натягивает вожжи извозчик. – Вот он ваш Табачный проезд!

Ни фига себе проезд! Покосившиеся домишки, вросшие в землю до середины первого этажа. Труба, пыхающая серым дымом, и облако мелкой гадости, покрывающей все вокруг.

– Фабрика «Дукат»! – сказал извозчик и быстренько сгрузил наши вещи на грязный снег. – С прибытием вас!

Лошади зацокали подальше от этой отравы, а мама сложила ладони рупором и стала радостно выкликать:

– Ханна!.. Соня!..

И почти сразу же с грохотом раскрылось окно на втором этаже, и оттуда выскочил пацан – постарше нас с братом и в одних трусах.

– Я-яша-а! – проблеял вслед ему жалобный голос.

– Соня! – радостно закричала мама. Она ни капельки не удивилась, как будто прыжки со второго этажа случаются в Москве каждый день.

– Уби-ился! – запричитала, выглядывая в окно, сильно пожилая тетенька вся в седых волосах.

– Соня! – снова закричала мама так же радостно. А пацан уже поднимался, отряхивая от дукатовского шлака голые колени. —

– Жив, холера? – удивился все в том же окне солидного вида человек.

– Захар! – снова подала голос мама, но уже не так радост-

но.

– Гановер! Вор! – продолжал бушевать мужчина в окне. – Отдай руку! Или домой не приходи!

Вот так-так! Оказывается, в этой Москве оторвать руку – левое дело. Мне это как-то сразу не понравилось.

– Оденься! Простынешь! – кричала тетя Соня, выбрасывая в окно свитер и брюки.

– Ни-че!.. – прыгая на одной ноге, влезал в штаны парнишка. – Обсосется!

Никакой руки, кроме двух своих, у него не было. Но дядя Захар в окне требовал свое:

– Верни руку! А то в два счета загремишь в колонию! Вот не сойти мне с этого места!

Ну, приехали! У меня с перепугу в животе поскучнело – нам ведь у этого дядьки жить!

– Соня! Захар! – немножко растерянно звала мама.

Все оказалось не так уж и страшно. Дядя Захар спустился к нам и помог занести вещи в комнату.

– Ишиве бохер! – бурчал он непонятное ругательство. Но это уже было похоже на уходящую грозу. А мама и тетя Соня тем временем рыдали, обнявшись.

– Вот здесь она висела! – никак не мог успокоиться дядя Захар. И показывал на ковер на стене.

– Ай, подумаешь, – на минутку перестала плакать тетя Соня. – Лапка... Зажим такой для бумаг, вроде маленькой руки...

– Серебро! – снова вскипел дядя. – Чистое серебро! А этот гановер!.. Вор!.. Чтоб ему фонарем стать! Днем висеть, а ночью гореть!

– Захар! – снова заплакала тетя Соня. – Что ты говоришь! Он же сирота! Все, что осталось от семьи несчастной Рахили!

И опять зарыдала в голос. И мама вместе с ней.

Савичевы умерли.... Умерли все.... Осталась одна Таня...

— Плачьте! Плачьте! – не сдавался дядя. – Вы еще не так заплачете, когда вспомните, что эта рука держала! Квитанции за Дорину квартиру! Жировки!

Вот когда я в первый раз услышал это слово: «жировки»!. Иди знай, что совсем скоро оно у меня в зубах навязнет.

Потом пришли тетя Ханна и ее дети: Фаня, Боня и Эля. И все обнимались, смеялись и плакали. Смеялись и плакали. А дядя Захар все вспоминал серебряную лапку и этого «шейгеца» Яшку:

– Зейст! Смотрите! Вот тут эта рука висела!.. Чтоб он пропал!

– Захар! Захар!.. – останавливала его тетя Соня.

– Что «Захар»? Это ты его распустила!

А мудрая тетя Ханна смотрела дальше всех:

– Без жировок вы не докажете, что ваша квартира была вашей!

– О! – поднял пухлый палец дядя Захар. – А я что говорю!
– Как-нибудь... – успокаивала себя мама.

И снова пароход моей памяти перескакивает с волны на волну, неведомо по какой логике соединяя прошлое с позапрошлым.

Я был гостем двоюродного брата Бориса. Теперь он звался Борухом и был вполне преуспевающим гражданином своей страны. И он, и его жена Рита приняли меня как родного. Они сделали все, чтобы я мог увидеть и принять в свое сердце Эрец-Исраэль.

Мы побывали на холме, где наш предок Авраам заключил союз с местным царем Авимелехом и получил разрешение пастись своим стадам на этой земле.

Борух свозил меня на Мертвое море и в древнюю крепость Масаду. А потом пришла очередь Иерусалима.

— Поезд до станции Усово отправляется со второй платформы!

Проплывает за окном Белорусский вокзал. Паровоз пыхтит и плюется паром. «Беговая»... «Тестовская»... мост через Москву-реку... «Фили»... Тридцать минут – и мы в Кунцеве. Я закрываю «Серебряные коньки». Я все еще там – лечу по замерзшему каналу, и лед сверкает под светлым голландским небом. Но я уже и здесь – среди черных

развалов угля, втопанного в грязь. Тащусь за мамой и слушаю ее охи да вздохи. Снега еще нет – конец ноября. Но трубы уже дымят, и сосны шумят по-зимнему.

Мы идем мимо пруда, поднимаемся в горку. И вот она – улица Горького, бывшая Богдановка. Какая-то псина с лаем бросается навстречу. Но вдруг замирает, валится на спину. И суетливо машет лапами.

– Артошка! – радуется мама. – Живой! Узнал!

Она наклоняется, треплет собаку по брюху и бормочет про себя:

– Какнибудь!

«Как-нибудь» не получилось. На двери нашей кунцевской квартиры висел амбарный замок. Мама смогла только заглянуть внутрь через замызганное окошко.

– Ну и грязищу развели! – всхлипнула она. И правда, я увидел, какими черными от сажи были печка и стены.

Тут откуда ни возьмись, нарисовались наши соседи. Тетя Рая Штаркман, тетя Таня Иванова, тетя Маруся Курылева и старик Обливанцев. Все принялись обниматься и плакать. К этому я уже привык – взрослые по каждому случаю нюни распускают. Хорошо, что Мишка у тети Сони остался, а то бы он тоже всласть поревел.

– С приездом! С возвращением! – радовались все сквозь слезы. Одна мама плакала без всякой радости.

– Дом-то наш занят... – жаловалась она. – Куда мне

с детьми деваться!

– У! – загудели соседи. – Тут теперь плотник Паршин живет!

– Приезжий! – пояснила тетя Таня Иванова.

– Друг-приятель домоуправа! – добавил старик Обливанцев.

– Из одной деревни! – вставила свое слово тетя Маруся Курылева.

– Понаехали тут! – сказала тетя Рая Штаркман.

– Ну-ка, что тут за собрание? – раздался вдруг грубый голос.

Спиной к двери встал здоровенный детина с сильно бородастым лицом.

...и увидел черную бороду и два сверкающих глаза...

«Пугачев»! – подумал я.

– Вы что тут ошиваетесь? – грозно спросил «Пугачев».

– Да вот... вернулись мы... – ответила мама. – Хотелось бы посмотреть нашу квартиру...

– Ишь чего захотели! – огрызнулся мужик. – Была ваша, да сплыла! Нечего было сматываться!

– Да они всю жизнь здесь жили! – попробовали было заступиться соседи.

– А вас кто спрашивает! – оборвал их «Пугачев». – Защитники! У самих рыла в пуху! Думаете, я не знаю! Ты, Ма-

руська, шерсть с фабрики тащишь! А ты, Танька, где кости суповые берешь! А Раиска, вообще, на хлебозаводе работает! Я вас всех на чистую воду выведу!

– Нам же жить негде, – робко пожаловалась мама.

– Ну и езжайте обратно в вашу Сибирь! Там вам самое место! А к дому и близко не подходите! А то в лепешку расшибу!

– И расшибет, – поняла мама, сама не своя от страха. И побрела через дорогу – к бабушке.

Ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...

«К бабушке» это только так говорилось. На самом деле это был дом моей тетки Фримы. А бабушкину квартиру во время войны заняла соседка Ханна Кракова. Судиться с ней не стали, в том доме жить было опасно, он все заметнее сползал в овраг. А у Фримы были целых две комнаты и веранда.

Вот только попасть туда оказалось не так-то просто. Стоило нам открыть калитку, как прямо на нас кинулось что-то черное и с рогами.

– Брысь! – закричала мама, загоразивая меня. А от крыльца уже бежала тетка Рейзл с криком:

– Козел! Настя, козел!

– Ах, ты, господи! Отвязался проклятый!

С другой стороны дома выскочила толстая пожилая те-

тенька с венником и принялась хлестать им огромного рогастого козла. Тот не стал спорить и лениво затрусил на свою половину.

– Холера ему в бок! – никак не могла успокоиться моя тетка. – А штыкл дрек!

Козел, видно, услышал и обиделся. Он взбрыкнул ногами, обернулся и злобно уставился на тетку.

Они долго сверлили друг друга глазами, пока хозяйка снова не огрела его венником.

– Что он сгорел! – пожелала тетка и заспешила в дом.

А там стоял дым коромыслом. Тетка Рейзл рубила мясо на котлеты и, не отрываясь от дела, спорила с древней старушкой – божьим одуванчиком, оборонявшейся от нее длинной костяной трубкой, приставленной к уху.

– За квартиру не плачено! – твердила старушка, тряся бородатым подбородком. – Домууправ требует, чтобы до конца года все было в ажуре! А не то пени заплатите!

– Халоймес! – кричала в трубку тетка Рейзл. Старушка, видно, была глухая. – Какие пени! Я сама платила и за ноябрь, и за декабрь!

– А где жировки?

– Фрима! – крикнула тетка. – Где квиточки за квартиру?

– Хвейс... – вышла на веранду тетка Фрима. – Може, маме знае?.. Маме! – позвала она.

– Вус? Вер? – высунула голову бабка Злата. – Яки квиточки?

– Верка вчера из каких-то бумажек кораблики клеила, – вмешалась двоюродная сестренка Жанна.

– Да подавитесь вы! – не очень вежливо сказала младшая Вера и шваркнула на пол жеваные бумажки.

– Зейст! – развела руками бабушка. А Фрима замахнулась мокрым полотенцем.

– Чепен зи ниht! – заступилась бабушка. В смысле «не трогай ее!», наверное.

Тут только они заметила нас.

– О, Дора! О, Илюша! О, Миша! – обрадовалась Фрима..

А сестренка Жанка тут же сказала свое «здрасьте»:

– А ваша квартира занята! Там плотник Паршин живет!

– Горького, двадцать девять? – всмотрелась в маму старушка из домоуправления. – Как же! Личность заметная! На трудовом фронте был. Ой, наместесь вы с ним!

– Нам же жить негде, – снова пожаловалась мама.

– Судиться надо! – посоветовала старушка. – Доказать, что вы все это время за квартиру платили.

– Ну да! Ну да! – обрадовалась мама. – Сестра платила.

– Соберите жировки и наймите хорошего адвоката!.. Только я вам ничего не говорила!

Мама не стала рассказывать про племянника Яшку, руку и пропавшие жировки. А тетя Рейзл пробурчала:

– На хорошего адвоката хорошие деньги нужны.

Она-то знала, что у мамы не только хороших, но вообще

никаких денег нет. У тетки Фримы денег тоже не было. А сама тетка Рейзл и так все время твердила, что живет на копейки, которые ей платят за работу кассиром в магазине. И вообще, не могла она простить маме, что уехала та от своего мужа в Омске. Тетка хоть и была незамужней, но лучше других знала, какой должна быть хорошая жена.

А у бабы Златы из всех капиталов была только серебряная монета невесть какого затертого года да желтый клык, который у нее выпал еще до войны...

В общем, остались мы у них ночевать.

Да и не на одну ночь. Фрима перебралась в комнату к бабушке и Розе. А мы вдвоем утеснились на узком диване. А на другом безобразничали мои двоюродные сестренки: Жанна и Вера. Они были неугомонные, до поздней ночи вовали за место у стенки. А днем не давали житья бабушке. Особенно приставучей была старшая – Жанна.

– Баб, а баб, а сколько у тебя детей было? – цеплялась она к бабушке.

– Хвейс... Я знаю ... – разводила руками старушка. – Чи девять... Чи десять...

– Что ж, ты не помнишь, сколько умерло?.. сколько выжило?

– Хвейс... Бог дал... Бог взял...

Откуда моя еврейская бабушка взяла эту русскую поговорку? Она была родом из Александрии. Но не той, что в Египте, а той, что в степи под Херсоном.

Она была ровесницей не то Ленина, не то Сталина – теперь уж не помню. О своем детстве ничего не рассказывала. Только – как бегала за десять верст на железную дорогу: царский поезд должен был проехать.

Она имела привычку сидеть у окна веранды, уперев локти в подоконник и положив подбородок на ладони. Наблюдала за проходящей за забором жизнью – как будто кино смотрела.

Когда надо было позвать внучек – моих двоюродных сестер – она кричала: – Жа!.. потом сбивалась, вроде бы забывала имя Жанны, и звала следующую: – Вера!.. Получалось: – Жа... Вера! Так мы и стали звать бабушку Злату – «Жа-вера».

Чаще всего «Жавера!» слышалось из уборной. Бабушка имела привычку просиживать там часами. И все это время козел терпеливо караулил ее. Стоило старушке приоткрыть дверь, как злобный зверь, наклонив башку, напрыгивал на нее. Вот тут уж бабушка Злата голосила на весь двор:

– Жа... Вера!..

Девчонки выскакивали с веником.

– Тимошка, брысь! – хором кричали они. И козел Тимофей послушно убирался в сарай, который тетя Настя как всегда забыла закрыть.

Помню, мы поднимались по склону холма, поросшего редким лесом, и Борух взглядывался в просветы между деревья-

ми.

– Где-то здесь... – бормотал он, притормаживая. – Дорога-то одна... Только дальше придется пешком...

Мы оставили машину и побрели наверх.

И почти сразу же открылись верхушка холма и два серых надгробия.

Смеркалось в ноябре рано, и я сомневался в чувствительности моей пленки.

– А все-таки попробуй! – попросил я брата. – Только захвати обе могилы!..

Пока Борух прицеливался, я собрал горсть камней и разложил их по краям плит.

Я уже привык к этому ритуалу поминовения и даже находил в нем ощущение некоей родовой сопричастности...

Щелкнул затвор, сработала вспышка.

Сумерки стали гуще, зато как будто посветлел камень надгробий.

– Ну, скажи, – спросил я Боруха, – откуда известно, что здесь лежат Самсон и его отец? Есть какие-то свидетельства? Документы? Раскопки?

– Понимаешь, тут всегда кто-то жил... И они знали... Дед передавал сыну... Сын внуку...

– Три тысячи лет?

– А что?.. Ты понимаешь, для них это обычное дело... Олива, которую посадили во времена первого храма... Колодец, который выкопал Авраам... Холм, где похоронен Сам-

Глава вторая

Жить нам было негде и не на что. Мама все жаловалась, что у нас нет какой-то прописки, а без нее карточек не дают. Она оставляла меня у бабушки, а сама моталась в Москву, к сестрам. Искала ходы-выходы к адвокату, чтобы квартиру вернуть. Иногда брала и меня с собой.

Мы шли на станцию «Кунцево», где ждали поезда из Усова. Его притаскивал пыхтящий паровозик. Нас с мамой пускали в детский вагон. Все стены там были залеплены картинками про трех богатырей и медведей в лесу. И народа там было меньше, чем в остальных вагонах.

Поезд приходил на Белорусский вокзал. И мы тащились пешком до фабрики «Дукат».

К тете Ханне надо было пробираться по темному низкому коридору с земляным полом. Комната была какой-то кривой, а посередине стоял столб, на котором держался потолок. Окно до половины было засыпано мелким шлаком, который выбрасывали фабричные трубы. Я помнил, что до войны окно еще открывалось, и мы играли в прятки, выскакивая в него, и обегали дом, возвращаясь в дверь. Теперь же шлак почти до середины закрывал окно. И солнца в комнате никогда не было.

Зато в углу притулилась этажерка. А на ней книги. Ого!

«Таинственный остров»!.. «Пять недель на воздушном шаре»!.. Жюль Верн!.. Я даже забыл о сковородке, на которой что-то вкусно скворчало. Тетя Ханна умела готовить. Не то, что тетя Соня, у которой хорошо получалась только манная каша. Зато кусок сливочного масла, который она клала в тарелку, на всякий случай загораживая ее от дяди Захара, был таким большим, какого у бабы Златы мне бы никогда не дали. В голодное время этот кусок масла бегал за мной во сне.

– *Мы поднимаемся?*

– *Нет! Напротив! Мы опускаемся!*

– *Хуже того, мистер Сайрес: мы падаем!*

– *Выбросить балласт!*

– Брось книгу! С тобой же разговаривают! – выговаривала мне мама.

– Да пусть себе!.. – успокаивала ее тетя Ханна. – Все лучше, чем по крышам бегать!

Видно считала, что лазание по крышам это уж самое последнее дело.

У тети Сони книг почти не было. Одна «Как закалялась сталь» с какой-то загогулиной на обложке. Потом-то я понял, что это штык.

Тети Сониная комната была в этом же доме, но на втором этаже. Хозяева ее уехали в эвакуацию, да так и не вернулись в Москву. Комната была просторной и светлой. Не сравнить

с той, где они жили до войны. В самом настоящем подвале. Кто-то догадался разгородить его фанерными стенами. Получились клетушки, в которых помещалась кровать и крошечный столик. Сидеть приходилось на кровати, а стоило прислониться к стене, как все перегородки в подвале принимались ходуном ходить.

Дальше мы ехали уже в полной темноте.

Свет фар летел по буграм неизвестно кому принадлежащего придорожного мусора... по заборам никем не охраняемых цитрусовых плантаций...

И высоко в небе проплывали ожерелья поселений, накинутые на приплюснутые макушки библейских холмов.

«А, может, и правда, – думал я, – время для людей, которые живут на этой земле, течет по-другому?»

В нашем растянутом «вчера» толпятся Наполеоны... Чингисханы... Карлы Великие... А в их прошлом рукой подать до мальчика Давида. И у стариков еще ноют ноги от скитаний по Синайской пустыне... И они никуда не уходили с этой земли...».

«Но тогда, – думал я, – какой смысл в нашем уходе? Зачем мы ушли в чужое время и жили в чужой истории? Было ли в этом предназначение?».

– Приехали!..

Я открыл глаза и тут же зажмурился от слепящего сияния фонарей.

Мы стояли в воротах пропускного пункта, и Борух что-то толковывал на иврите ладным молодцам с короткими автоматами.

Один из них безразлично взглянул на меня и махнул рукой. Машина плавно въехала в последний год двадцатого века. Потянулись витрины... узорные двери... стайки детей... сутулые длиннобородые силуэты...

Бейтар-Илит.

Город правоверных хасидов.

А, может, и не хасидов.

Но очень правоверных.

Дядя Захар был закройщиком, одним из лучших в Москве. Он кроил одежду для жен больших начальников. Они приходили на примерку, оглушая нас запахом духов и пота. Дядя загонял их за китайскую ширму, откуда слышались их смешки и повизгивание.

– Мадам, не шебуршитесь! – уговонял их дядя. – Скажите лучше, где вы хотите иметь талию!

Или:

– Мадам, ваши цицкес не дают вам видеть живот!

За ширмой раздавались таинственные слова: «файде-шин», «крепжоржет», «панбархат».

Иногда дамы приходили в час детских радиопередач, которые дядя Захар не пропускал. Тогда он говорил:

– Ша! Оставьте ваши майсенс! Не трусите словами!

Он делал радио громче, и мы все слушали историю о звездном мальчике с каменным сердцем.

...я так красив, я так хорош, румян, как майский день...

Дядя Захар даже хлюпал носом, переживая злключения героев.

– Нет, вы слышали? Этот шейгец не узнает родного отца!

Я потом пару дней ходил, переполненный голосами из этой радиопостановки. Когда мне доводилось раньше Мишки прикончить обед, а он еще доскребывал свою тарелку, я тянул дребезжащим от старости голосом: «Ма-альчик! До-обрый мальчик!...». Когда это не действовало (не действовало никогда), я говорил круче – голосом торговца из «Да-вида Копперфильда»:

– Курри-бурри! Кости мои! Жилы мои!..

Тут уж Мишка не выдерживал и с ревом уносил свою тарелку в самый дальний угол.

Иногда мне приходилось напоминать:

– Дядя Захар! Клуб знаменитых капитанов!

Дядька бросался к репродуктору, и приятный голос пел:

В шорохе мышинном,
В скрипе половиц
Медленно и чинно
Сходим со страниц...

— Херст! – поднимал палец дядя. В смысле: «Слушайте»!

*Мы полны отваги,
Презираем лесть,
Обнажаем шпаги
За любовь и честь!*

— За любовь и честь! – толстым голосом кричал дядя. Испуганные дамы выскакивали из-за ширмы в одних красных трико до колен.

После их ухода дядя застилал стол одеялом, раскладывал ткань, а сверху прозрачную бумагу и начинал колдовать над ней с куском мела в руке и сантиметром на шее.

– Нарисуем промфинплан! – говорил он загадочно.

А потом обращался ко мне, удобно устроившемуся на диване:

– Ну!..

Я уже знал: он ждет продолжения «Острова сокровищ» – книги, которую я только что прочел и начало которой успел пересказать ему.

– Так вот... – начинал я. – Этого самого Билли Бонса хватил удар. Он получил «черную метку» и с перепугу помер...

– Как, говоришь, его звали? – переспрашивал дядя.

– Билли Бонс, Я ж тебе говорил!

– Ну да... Был у нас такой Рабинович. Тот еще бандит и босяк. Взял кассу в Гайсине. Да пожадничал, сейф захотел унести. А тот с секретом был. Так рвануло, что у всего города

удар был...

Дядя Захар приложил сантиметр к бумаге и стал закалывать ее булавками.

– Ну-у! – протянул он, не разжимая губ.

– Мальчик открыл сундук этого Билли Бонса. А там золотые монеты, да еще карта острова. Да не простого, а где зарыты сокровища.

– Тикать надо было! – перебил меня дядя.

– Они и хотели. Но тут вдруг заявили пираты. Самые настоящие. Мальчик с мамой еле успели спрятаться под мостом. А пираты бродили сверху, искали карту и все кричали: «Ищите! Ищите! Они здесь!»...

– Да-а... – вздохнул дядя Захар. – Так оно и бывало,... Мы прятались во ржи, а бандиты Балахновича скакали вокруг. «Запаливай!» кричали...

– Кто не спрятался, я не виноват! – подал вдруг голос двоюродный брат Яша.

Почему-то эта кричалка из детской игры в «прятки» расстроила тетю Соню.

– Смеешься! – захлопала вдруг она.

– Я ему посмеюсь! – пригрозил дядя Захар.

Не любил он Яшку.

– Ну и что с вами было? – спросил я.

– Порубили бы нас, да конь атамана попал в щель на мосту и захромал. «Плохая примета!» – решил этот бандит и приказал своим убираться из местечка. А раввин сказал, что это

его молитва помогла...

– А кто не спрятался?.. – опять встрял Яшка и почему-то посмотрел на тетю Соню.

– Я сейчас достану этого байстрюка! – снова вскипятился дядя Захар.

— Не вздумай целоваться с Эстер! – наставлял меня Борух. – И руку не протягивай!...

– Смотреть в глаза! Говорить по-русски! – сострил я голосом «Эха Москвы».

Брат меня не понял.

– Они живут, как им нравится... Для этого они сюда и приехали...

– А тебе нравится, как они живут?

– Ай!.. – Борух только сокрушенно помотал головой. – О чем разговор! Во всем себе отказывают!..

– А как же Пуси-Муси?

– О! Пуси-Муси... Мое утешение! Такие девочки! Сокровища!..

Мой двоюродный брат Яша был сиротой. Его мама, тетя Рахиль, и двое ее детей умерли в Ленинграде от голода. А Яша выжил. Его отдали в детдом, но он сбежал. Его поймали, но он снова сбежал. Тетя Соня пожалела сына своей погибшей сестры и взяла его к себе. Яша оказался еще тем подарочком. Он не признавал ничьей власти. Учиться не хотел,

работать ему еще было рано. Весь он был какой-то дерганный, видно от блокады так и не отошел. Дружил с местной шпаной, таскался с ней по Табачному проезду и по Тишинскому рынку. Шпана была не простая. В домах моих теток жили ассирийцы. Черноволосые, шумные. Их старушки с утра до вечера сидели на каменных тумбах и вытягивали нитки из мотков шерсти. Потом из этих ниток они плели шнурки. Из подвалов несло гуталином ассирийские женщины варили его из всякого вонючего барахла. Говорили даже что-то о собаках. А ассирийские мужчины с утра пораньше расходились по центральным улицам и усаживались в свои будки. «Чистим-блистим!» – кричали они на всю улицу Горького. И стучали щетками по низеньким скамеечкам для обуви. У них можно было купить и шнурки, и гуталин, и стельки. Москва была грязным городом, и работы у них хватало.

После пропажи «руки» Яшка несколько дней не появлялся. Он дружил с ассирийским мальчиком по имени Оник. Видно, и ночевал у него в подвале. Наверное, Яшу там и кормили. Потому что где-то же он должен был есть. А на тети Сонины крики в обед: «Яша! Яша!» он не откликался. А потом вдруг пришел и бросил на стол тот самый серебряный зажим.

– Нашел! – нахально заявил он. – Сами теряете, а потом на меня валите!

– А жировки? – робко спросила тетя Соня.

– Не знаю я никаких ваших жировок! – отрезал Яша.

– Постарайся у него узнать! – шепнула мне мама.

– Ну-у...

– Что «ну-у»! Если мы не найдем жировки, не видать нам нашего дома, как своих ушей!

Легко сказать. Яшка целыми днями пропадал у своих ассирийских дружков. Что они делали? «Хвейс», как говорила моя бабушка: «Я знаю?..».

Я даже читать перестал. Все ломал себе голову, как бы мне выведать у Яшки, куда он дел эти чертовы жировки.

Как то раз братец сам позвал меня, когда они всей гурьбой отправлялись на Тишинский рынок.

– Хватит бейцы крутить! – сказал он мне непонятно. – Ты уже не малявка!

Хошь, не хошь, а пришлось согласиться. Может, и правда, что-нибудь о жировках узнаю.

Какие жировки! На Тишинском рынке продавали все, кроме жировок. Ну, скажу я вам, это было что-то! Куда до него Омскому базару! Огромный и набитый всякой всячиной под завязку. Тут было все, чего не было в магазинах. Как до войны, наверное.

Мы заявили туда целым отрядом. Впереди Яшка с Онником тащили тележку, на которой стояло что-то большое, закутанное в белую тряпку. За ними вприпрыжку скакали младшие братья Оника и сестра Марта. Она была уже совсем взрослая, но, видно, это ей не очень нравилось. «Ветер в голове!» говорили про нее ворчливые старушки.

Честно скажу, на рынке нам не обрадовались.

– Сирийцы пришли!.. Опять эти черные! – загомонили бабки за прилавками. И стали торопливо накрывать свои бебехи всякими тряпками да клеенками.

– Стой здесь! – приказал мне Яшка. – Как увидишь милиционеров, кричи что есть мочи: «Милиция!». Усек?..

Сначала я честно следил за воротами. Но милиции не было, а вокруг нашей тележки крутились рыночные тетки. Что-то им там было интересно. Я потихоньку пробрался ближе.

Смотрю, а Яшка с другом Оником разворачивают то, что стояло на тележке. Оказалось, это большое зеркало в черной деревянной раме. Девушка Марта стала крутиться перед ним и поправлять платье. Потом запела что-то на своем чудном языке. В зеркале она смотрелась даже красивее, чем в жизни.

– Фигли-мигли! – подступила к зеркалу молодка в пуховом платке.

– Что хотите? – спросила она, любуясь на себя в зеркале.

– Картошку! – в один голос заявили Яшка с Оником.

– Два мешка! – твердо сказала молодка.

– Семь! – еще тверже ответили ребята.

Молодка даже руками всплеснула:

– Очумели что ль! Покорячились бы с наше, попахали бы с весны до зимы без мужиков! Картошечка-то на бабьих следах росла!..

Так жалобно она говорила, что, будь это зеркало моим, я задаром бы его отдал. Но Оник стоял на своем:

– Семь!

– Да ему ж цены нет! – вступил Яшка. – Ручная работа!

И он ласково погладил резные загогулилки рамы.

– Креста на вас нет! – возмущалась торговка. Но от зеркала она не отходила, не давая посмотретья в него другим. Рассматривала себя то с одного бока, то с другого, улыбалась ему щекастым лицом. Бедной она не выглядела: в новеньком синем тулупчике, в валенках с галошами.

– Бери, Дарья! Не то я возьму! – вмешалась какая-то баба. – Мужик с войны вернется, глядеться в него будет!

В общем, сторговались на пяти мешках. Картошку погрузили на тележку, а сверху положили зеркало. И повезли за ворота – там у Дарьи подвода стояла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.